



Н. В. ГОГОЛЬ

В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность

<...> В то время когда Жуковский стоял еще на первой пороге своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самом идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и так сильно чувствовал. Все прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силился превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выраженьем, стихов и мыслей сладострастье¹. Казалось, как бы какая-то внутренняя сила равно<ве>сия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркою, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, которая видна у древних, и той звучащей неги, которая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладострастной роскоши второго. Все уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногослаголив на передачу ощущения, но хранит и совокуп-

ляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношенья оно имеет уже силу взрыва, если выступит внаружу. Приведу пример. Поэта поразила вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта поплились бы пылкие стихи на несколько страниц. У Пушкина все в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращеньем:

Далекий, возжеленный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!²

Именно одно это мог бы сказать русской человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустили бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Все стало ее предметом, и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразила и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака³, — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке⁴ — все становится его предметом. На все, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на все, что ни есть в природе видимой и внешней. Все становится у него отдельной картиной; все предмет его; изо всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком твореньи Бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого применения к жизни в потребность человеку, не обнаруживая никому, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: смотрите, как прекрасно творение Бога! и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: смотрите, как прекрасно Божие творение. От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают

в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы, обдуманнные, оконченные, все заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направление мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других, хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на все откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика⁵, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая, младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире. Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, благодетельствованный всеми дарами неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его?⁶ Сам Гете, этот Протей из поэтов⁷, стремившийся обнять все как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем своим личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди улови его характер как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящийся от-

клика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

Не для житейского волненья,
 Не для корысти, не для битв,
 Мы рождены для вдохновенья,
 Для звуков сладких и молитв.

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем все там до единого есть история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель слышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделявал так сонетов своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные создания. Какая точность во всяком слове! Какая значительность всякого выраженья! Как все округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы; трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцаяницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны⁸.

Как ему говорить было о чем-нибудь потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на все, что ни есть в мире, и когда всякой предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собраньем разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпитграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего выступает тот же чудный образ, на все откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: «Борис Годунов» и «Полтава» — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замыслил он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мас-

терски и художественно отработанные. Он изумился только необычайности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие⁹.

Чтение поэтов всех народов и веков порождало в нем тот же отклик. Герой испанский Дон Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлены неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гетев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта — и дивишься, как она метко понята и как сосредоточена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гете. Суровые терцины Данта внушили ему мысль в таких же терцинах и в духе самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад затем, чтобы остановиться перед древними статуями, с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живей науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться¹⁰.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног; все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепенно, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же, как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть прямо-русской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его¹¹. Пушкин был этому рад и написал «Капитанскую дочь», решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с «Капитанской дочкой» все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительно<сть> кажется перед нею искусственной и карикатурной. В

первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей — все не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Все показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с «Капитанской дочкой» оставил он мастерские пробы романов: «Рукопись села Горохина», «Царский араб»¹² и сделанный карандашом набросок большого романа «Дубровский». В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотвореньи, в котором звуками, почти апокалипсическими, изображен побег из города, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния¹³. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управляться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдруг от нас — и все в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека. <...>

